Мячик

Севка томился. Все уже ушли, оставив его одного в гулкой пустоте коммунальной квартиры. И мама, и Вовкины родители, и сам Вовка. Иногда у дяди Вити случался радикулит, и он просыпался рано. Тогда можно было попить с ним чай на общей кухне и послушать, как он кряхтит. Но сегодня дядя Витя, к сожалению, был здоров и крепко спал. Хорошо хоть Вовка разрешил немного поиграть в его мячик.

Сначала Севка играл, что мячик — это его напарник колобок и они с ним сходили в опасное путешествие на лестничную клетку. Потом мячик был снежной лавиной. Он несся с горы и раздавливал мамин носок, который на самом деле не носок, конечно, а целый город. Потом мячик стал бомбой, которую Севка должен поймать, потому что если она коснется земли, то все взорвется. Потом мячик стал мячиком, отскочил от угла кровати и попал в окно. Окно со звоном разбилось, и на пол просыпались стекла.

«Все», — подумал Севка.

Случилось что-то настолько страшное и непоправимое, как если бы он попал под машину или сорвался с балкона, и Севка приготовился умирать, но мир не кончился, просто в комнате стало очень холодно. Какая-то часть Севки соображала, что нужно надеть куртку, носки и собрать стекла, но вторая его часть будто бы опухла и стала плюшевой, как старый вытертый котенок Жуля. И эта часть Севки плакала, что стекол слишком много и что мама будет ругаться.

Плакать, впрочем, быстро надоело, и нормальная часть Севки придумала, что нужно делать. Ему все равно стоять в углу несколько часов, поэтому он встанет заранее и к маминому приходу уже накажется. Севка встал в угол и начал ждать. Стоять было холодно, больно и очень скучно. Но Севка терпел.

В два часа из школы вернулся Вовка.

— Откуда сквозняк? — переполошилась тетя Света, Вовкина мама. — Севка, ты тут? — И заглянула.

Увидев разбитое окно, она сначала ахнула, потом заметалась по комнате и наконец сообразила заткнуть дыру подушкой. Из кухни приковылял дядя Витя, а потом и Вовка. Все молчали.

— Это ты моим мячом? — спросил наконец Вовка и тут же испугался. — А мяч где?

— Там, — пробормотал Севка и показал на окно.

— Он мой мячик выкинул! — закричал Вовка и заревел.

— А я говорил, нечего этого дебила малолетнего тут оставлять! Дала бы взятку заведующей, все равно есть способы в садик пропихнуть! Ты же запихала.

— Ой, скажете тоже... Чего с нее взять...

Дальше тетя Света сказала про маму плохое слово на «ш», на «б», и два каких-то новых. Они долго стояли в коридоре и обсуждали, какая мама плохая, и как она им надоела, и Севка надоел, и что терпят они их только из жалости.

Севка стоял в углу и даже плакать не мог. Он любил их, правда любил. Он думал, что и они его любят, он всегда старался проснуться пораньше, чтобы увидеть всех утром, а теперь выходило, что они притворялись, а на самом деле ненавидели его. Выходит, что дядя Витя угощал его из вежливости, а сам ненавидел за то, что Севка съедает его сладости. Тетя Света дарила старую Вовкину одежду из жалости, а сама ненавидела, что приходится дарить. Неужели и Вовка всегда его ненавидел, а не только сейчас, после мячика? И папа Вовкин, который при встрече всегда трепал по голове и спрашивал:

— Чего, щегол? Растешь?

Мир как будто сломался, и там, за дверью, были уже не люди, а что-то черное и противное. И сам Севка, который разбил стекло и испортил мяч, тоже теперь стал склизкий и противный, хотелось посмотреть в зеркало, но зеркало было только в ванной, а выйти из комнаты теперь было невозможно.

К вечеру у Севки сильно заболели ноги и спина. Он уже не мог стоять прямо, а переминался, привалившись к двери, пока не пришла мама. Мама поговорила с тетей Светой в коридоре и сразу же прошла к окну. Заглянула за подушку и только потом обернулась на Севку. Севка бросился к ней, уткнулся в колючее холодное пальто и прошептал, захлебываясь слезами:

— Мама, давай уйдем отсюда, они нас ненавидят!

Мама покосилась на раскрытую дверь и хмыкнула:

— Думаешь, я их люблю? В угол. Ты наказан.

Море

Оля хотела пожарить омлет — стукнула яйцом о край миски и еле успела остановиться: вместо белка внутри оказалось кроваво-красное месиво, в котором подрагивал круглый желток. Оля заметалась по комнате, не понимая, куда это выбросить — в миску с молоком, в раковину или в унитаз. Ее охватила странная брезгливость, будто бы она только что собиралась съесть не самое обычное яйцо, а трагически погибшего куриного ребенка. Желток опустился на дно унитаза и лежал там. Пока Оля отмывала руку, она почему-то надеялась, что он утечет в канализацию сам, но пришлось нажать на ручку слива.

К вечеру началось кровотечение.

Врачи уверяли, что ЭКО — это очень надежно, и с Олиными анализами все точно получится, однако нет. Теперь Оля не знала, что делать. Зашла к маме, сообщила. Посидела в привычной прохладе пустой маминой квартиры. Мама догладила хрустящие от крахмала скатерти и, натерев хрустальный стакан белоснежным полотенцем, предложила свежий компот.

На искусственное оплодотворение Оля решалась долго. Это было как признать то, что надежды нет. Никакой семьи у Оли уже не будет. И любви не будет. Просто пора решать проблему. И не самой, а за счет будущего ребенка, у которого никогда не будет отца. В голове постоянно стучало это военное слово — «безотцовщина». Мальчик или девочка, но в любом случае Оля родит безотцовщину. Как она сама. А тут и безотцовщины не вышло.

Начальник растерянно крякнул, с утра заметив Олю на рабочем месте, а его жена, ласково погладив Олю по руке, предложила отправиться к морю. Поправить здоровье перед новой попыткой. Многодетную жену начальника Оля всегда слушалась. Впрочем, Оля всех слушалась. Слушалась психолога, уверявшего, что сначала нужно излечиться от детских травм — Оля не сможет стать матерью, не почувствовав себя дочерью, маленькой и беззащитной. Слушалась гинеколога, уверявшего, что все это чушь.

Море так море.

Вагон оказался с кондиционером, и суетливый мужичок в выцветшей кепке постоянно его настраивал, якобы невзначай задевая Олины ноги. Оля специально их не убирала. Эти прикосновения отвлекали ее от густого морока печали, напоминали о тех временах, когда надежда еще была. Когда у нее был вихрастый Вадик, порывисто целовавший ее куда попало. Потом он уехал на заработки и не вернулся — кажется, давно женился. Или когда у нее был чинный Максим, целовавший только перед сексом и только в губы. Как-то он пригласил Олю в хороший ресторан, подарил цветы и вместо ожидаемого предложения руки и сердца поблагодарил за совместно прожитые годы. Оля по-

том видела его с другой — у той была густая, идеально подстриженная челка. Или даже когда Оля встречалась с грузчиком Валерой. У него были жесткие, неприятные руки, и хохотал он так, будто задыхается. Валера пил и пропадал. Как только его уволили, он пропал совсем. Все пропали. Ни любви, ни семьи, и даже просто ребенка не получилось.

Суетливый мужичок оказался местным — предложил поселить у себя, одну, дешево, со всеми удобствами. Оля согласилась. Мужичок ей не понравился, но ей и прежние мужчины не особенно нравились. Просто это могло оказаться кстати — гормональный сбой, жара, отпуск. Наверняка вино. Мало ли. Ребенка Оля захотела рано. Лет в десять. Ее попросили отвезти в музыкальную школу соседскую девочку Нюту. В трамвае была давка, но Оле удалось подкараулить освобождающееся место и усадить Нюту себе на коленки. Нюта почему-то села вполоборота и прислонилась щекой к Олиной щеке. Так они и поехали, тесно прижавшись. Нюта задремала, а Олю охватило странное новое чувство. Было очень приятно обниматься и сидеть так вот — ласково. И когда у нее будет свой ребенок — это будет очень хорошо, он будет такой вот нежный и горячий, его можно будет брать на руки, целовать, обнимать и прижиматься щекой, когда захочется.

К вечеру они вышли в сухом приморском городишке. Оля рассчитывала на романтический вечер под южными звездами, но к ужину вышла жена мужичка и долго расспрашивала про цены и зарплаты. В тот день Оля к морю не пошла, лучше было заснуть, чтобы избавиться от этого привычного тупого разочарования.

Утром Оля встала рано и пошла купаться. Море появилось внезапно, из-за сопки, и Оля почему-то испугалась. Это была не просто вода, оно было живое. Казалось, оно соберет все капельки своего огромного тела, поднимется, сделавшись перетекающим великаном, и подойдет. И что-нибудь скажет своим большим водяным ртом. А внутри него останутся плавать рыбы. Они будут недоуменно высовывать свои острые мордочки где-нибудь сбоку, и на этом месте начнут расходиться теперь уже вертикальные круги. Но море не шло, и Оля поняла, что подходить оно не станет — это же страшно, а море доброе. До ног докатилась пена и тут же откатилась обратно. От этого будто живые, зашевелились и запрыгали крохотные песчинки. Тысячи. Тысячи тысяч песчинок. Оля взяла немного песчинок на руку. Какие-то были крохотными ракушками, какие-то казались совершенно стеклянными, а некоторые, каменные, блестели на солнце глянцевыми боками. Песчинки почему-то было жаль. Оля аккуратно ссыпала их на место и посмотрела.

Море по-прежнему было тут.

Оля почувствовала странную беспричинную радость, будто бы она потерялась, очень давно потерялась. Много лет назад. Может быть, при рождении. А теперь она наконец нашлась. И больше уже никогда не потеряется. Она поднялась и пошла навстречу. И, окунувшись в огромное тело моря, она улыбнулась и выдохнула:

— Мама...

Перешмыг

Пришлось уйти во двор. Люба попрыгала по ступенькам, покачалась на скрипучей доске тротуара, выдернула зацветший сорняк из зарослей картошки. Прислушалась — нет, все еще ссорятся.

Маме не нравилось ругаться одной, а дядя Володя в ответ на все ее крики молчал как пень, поэтому иногда мама покупала дяде Володе пива. После пива дядя Володя не молчал, а ругался тоже. Еще маме не нравилось, когда дядя Володя ходил к соседке. Любе тоже не нравилось. Она боялась оставаться одна и просила взять ее с собой — у соседки были сиреневые фиалки на окошках и тюлевые занавески с такими же сиреневыми цветочками. Люба не помешала бы, правда. Просто посидела бы тихонько у окна и посмотрела на фиалки. Подождала бы дядю Володю.

Дядя Володя никогда ее не брал. Хмурился в ответ и просил не рассказывать маме. Люба не рассказывала. Она шла смотреть на фиалки с улицы и воображать, что она там, внутри. Но когда дядя Володя входил, соседка тут же задергивала шторы. И Люба опять оставалась одна. Ей нравилось представлять, что стен между ними нет и на самом деле она сейчас не отдельно, а вместе с соседкой, дядей Володей, Татьяной Михайловной и даже мамой, которая на самом деле тоже тут. Чтобы увидеть маму, нужно убрать очень много окон, стен, домов, может быть, даже несколько улиц — до самого банка, где мама сейчас сидит и выдает людям важные бумажки. Перед мамой стенки нет, перед ней прозрачное окошечко с щелью. Люба придумала играть в это, когда впервые забралась на стройку.

Она пошла посмотреть дом, в который их должны были переселить из барака. Дом оказался огромной серой горой, наплывавшей сверху, и сначала не понравился Любе. Она полюбила его только после того,

как Татьяна Михайловна на уроке сказала, что дом заморозили, он пропитывается как торт, смазанный кремом. Люба пошла к нему снова — очень хотелось увидеть, как бетон впитывается в кирпич.

Оказалось, что потолок построили не у всех квартир, и Люба ходила по стенам и смотрела вниз, на квадратные коробочки комнат. В одной из квартир, самой недостроенной, вместо обычного прута арматуры в проем окна всунули обрезок тонкой железной трубы. Люба решила, что это будет ее секретным местом, а может быть, это и есть их квартира, потому что она особенная. Люба стала приходить к трубе в гости и разговаривать с ней.

Как-то после уроков Люба решила потрогать трубу, она легко подпрыгнула и повисла, как на турнике. Это было легко — Люба уже умела допрыгивать до окон школы, до перекладин пожарных лестниц и даже до кисточек сетки баскетбольной корзины в малом зале.

Внизу покачивался мир — школа, груды мусора, забор, магазин вдалеке, их барак и та самая улица с маминым банком. И только тут Люба сообразила, почему детям не разрешают играть на стройке — можно же сорваться и упасть вперед, прямо с пятого этажа. От этого страха во рту стало кисло, и Люба не сразу решилась спрыгнуть. Она хотела больше никогда сюда не приходить, но на следующий день почему-то пришла снова и провисела довольно долго. А еще через день подтянулась и села на трубу.

На трубе было страшно, но и весело тоже. Особенно когда висишь головой вниз. Кажется, что ты — воздушный шарик, который вот-вот оторвется и упадет далеко в небо, прямо в пушистые ласковые облака. Наверное, по облакам можно бегать, уходя по колено в ватную мягкость, обнимать их, а может быть, даже есть. Наверное, солнышко питается облаками, потому что когда оно светит ярко, то облака исчезают. А еще солнышко — мама всех воздушных шариков, поэтому они и улетают к ней сразу же, как отпустишь. А если раскачаться и сделать оборот вокруг трубы, то можно увидеть, что солнышко балуется и крутится вместе с тобой.

Люба часто показывала одноклассникам фокусы на школьном стадионе, они собирались целой кучей и ахали, когда она кувыркалась, висела на одной руке или вертелась вокруг турника, зажав его под коленями. Было не так интересно, как на трубе, но показывать одноклассникам свое секретное место Люба не собиралась.

Как-то ее заметила Татьяна Михайловна и отвела во дворец творчества к старой толстой бабке, которая и ходила-то с большим трудом. Мама была против и даже пыталась запретить, но Любе нравились все эти фляки, наскоки, сальто и подлеты с поворотом в вис. Но особенно она любила перешмыг. Не само упражнение, оно было не очень интересным — на лету меняешь местами руки и хватаешься не так, как висел, а крест на крест. Просто суровая бабка отдавала команды жестким генеральским голосом:

— Фляк! Штальдер, — и вдруг, — перешмыг!

Люба всегда смеялась, а бабка сердилась. У них вообще не заладилось. Бабка не понимала, как учить Любу. Усложняла задачу еще и еще. Разновысокие брусья, сальто Гингера с выходом в винт. Программа кандидата в мастера спорта. В десять лет. Она объясняла технику, Люба пробовала выполнить, но не могла — боялась, а на следующее занятие приходила с уже настолько идеальным в исполнении элементом, что бабка часами выпытывала, кто еще ее тренирует. Люба отвечала, что труба.

На подружке-трубе в проеме окна будущей квартиры почему-то всегда получалось. На удобных брусьях над мягкими матами тело не слушалось, а вот на трубе, где каждое движение может стать последним, где облака белые перемешиваются с серыми улицами и солнце кувыркается вместе с Любой, — да. Люба чувствовала, что труба любит ее, держит и притягивает, как магнит, а с турником в зале подружиться не всегда получалось. Хотя и он держал. Люба никогда не срывалась, вообще никогда. Девочки из Москвы, с которыми Люба была на соревнованиях, даже прозвали ее Липучкой, но в школе прозвище не прижилось. В школе Любу уважали, смотрели ее выступления по телевизору, расспрашивали про сборы, соревнования и приходили поболеть.

Приходили учителя, уборщицы, физрук, дядя Володя, соседка, Татьяна Михайловна, даже мамин начальник из банка. С женой и детьми. Только мама не приходила. Сначала ей было некогда, потом нужно было полить огурцы, в следующий раз мама сказала, что уже смотрела по телевизору, а новую программу Люба не подготовила. Как-то, после родительского собрания, мама долго говорила с Татьяной Михайловной и пообещала прийти. Люба была так рада, что вместо разминки заняла маме лучшее место в первом ряду и высматривала ее в толпе входивших.

— Люба! Пора. — Бабка кивнула в сторону раздевалки.

Люба не хотела уходить, боялась, что займут мамино место, но, слава богу, пришел дядя Володя и сел рядом. Довольная Люба побежала в раздевалку.

Ей почему-то было так радостно и почетно, будто она выступает за область или даже за страну. Мама ее увидит! Самая настоящая мама сегодня вместо солнышка будет крутиться вокруг перекладины. Люба торопливо расправила трико, натянула чешки и выбежала в зал. Маленькая, тонкая девочка, похожая на пружинку в ослепительном пространстве сияющего

зала. Рядов с мамой видно не было — солнце било из окон и слепило глаза.

«И солнышко пришло. Сегодня будет две мамы», — подумала Люба и повернулась к бабке.

— Пришла-пришла, — успокоила бабка и кивнула в сторону рядов: — Вон сидит.

Люба легко выбежала к перекладине, широко улыбнулась, подпрыгнула, стараясь боковым зрением разглядеть маму, но не успела. Уже наверху, между фляком и вторым подлетом, Люба посмотрела на трибуну. Рядом с дядей Володей зияла синяя пластмассовая дыра пустого места. Мамы рядом не было. Где же она? Где?

И в ту же секунду Люба почувствовала, как мир привычно перевернулся, полетел, замелькало любопытное солнышко, но перекладина почему-то не легла в руку.

«Где же она?» — подумала Люба.

И схватиться было невозможно, потому что все уже вращалось, и уже непонятно, в какую сторону она летит, где верх, а где низ.

Все происходило так быстро, что люди в зале ничего не успели сообразить: маленькая девочка, гибкая и тонкая, как прутик, только что казалась приклеенной к перекладине, и как бы она ни отрывалась, все равно как по волшебству примагничивалась обратно. Это завораживало и казалось фокусом, а потому когда она вдруг взмыла высоко вверх и, перекрутившись в воздухе, прижала руки к телу и пошла по дуге в винт, прямо головой в пол, всем показалось, что это тоже какой-то фокус. Сейчас она, как шуруп, на полном ходу вкрутится в землю, а потом выпрыгнет и сделает изящный балетный реверанс.

И только когда толстая, перекошенная от артрита бабка рванула к ней, все замерли и поняли, что происходит страшное. Девочка сорвалась. Девочка падает. Сейчас она хлопнется о пол, проломит себе череп. Все посмотрели на бабку, надеясь, что она успеет добежать, спасти, но бабка, ахнув, завалилась на больную ногу и полетела тоже. И уже перед самой землей она вдруг истошно крикнула в оглушительной тишине:

— Перешмыг!

И рухнула.

Почему она выкрикнула вдруг такое нелепое и смешное слово, было неясно, но девочка мгновенно вытянула руки над головой и в ту же секунду приземлилась.

Все будто опомнились — заплакали, закричали, защелкали камерами телефонов, к бабке бросился доктор. А девочка, гибкая и тонкая, как прутик, медленно поднялась, размяла ушибленные руки, подошла к перекладине и, даже не посмотрев на трибуну, проделала все свои фокусы снова. Идеально ровно. Идеально точно. Идеально никому.